

Отрывок из повести В. Распутина «Живи и помни»

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька - ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ведала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же... Всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвиль ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа - и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит собираемое сено и густым, едким дурманом пахнет урожайное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов - любила все от начала и до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится - где ей быть, с кем жить, на кого злоститься, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой - и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа робит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желанное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела - и не болела уже, а истягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри - там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. "Ишь что вознамерилась, - угрюмо кляла она себя и теряла мысль. - Так тебе и надо".

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала - и не находила, не могла дожидаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

- Тронулась ты, че ли? - прикрикнула на нее Надька. - Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила - почему не спросить?

- К мужику своему хотела пробраться, да раздумала, - ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

- Тронулась, - решила Надька. - Ну и черт с тобой, если ты чужих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь - не щененка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

- Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали. Туту них Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

- Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться. - И выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич: - И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас...

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и, долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все - выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила - ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом

отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться - не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал - что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налоговые платежи. Атамановка - его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал - что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее - она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи - ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали, - но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Одедась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попроситься. Навсегда, до других ли времен - неизвестно:

Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а летом убежать от беды?

Настена гребла и с покорным, смиренным чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила... Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чувствуют? Слабенькие сегодня звездочки - куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными, праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса - тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй... И подтягивает третий...

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

- Вон она, вон! - кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким, словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей. - Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

- Вторую лодку сталкивай, - это уже голос Иннокентия Ивановича. - Скорей - чего телишься!

- Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно наконец, желанное, заработанное мучениями счастье, - почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно... всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоём месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?.. Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее...

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было тьмью...

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно. Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, - в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск - чистый, ласковый и подталкивающий, нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось

Настене, что ее морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

- Настена, не смей! Насте-е-е-на! - услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина - последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их - и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.

Источник: http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/rasputin_zhivi.txt